

Антон Макаренко



Педагогическая поэма

[Почитать описание, рецензии и купить на сайте МИФа](#)

Антон Макаренко

Педагогическая поэзия

Москва
«Манн, Иванов и Фербер»
2016

[Почитать описание, рецензии и купить на сайте МИФа](#)

СОДЕРЖАНИЕ

Предисловие партнера издания	7
------------------------------------	---

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

1. Разговор с завгубнаробразом	13
2. Бесславное начало колонии имени Горького	16
3. Характеристика первичных потребностей	25
4. Операции внутреннего характера	33
5. Дела государственного значения	39
6. Завоевание железного бака	45
7. «Ни одна блоха не плоха»	50
8. Характер и культура	57
9. «Есть еще лыцари на Украине»	61
10. «Подвижники соцвоса»	73
11. Триумфальная сеялка	79
12. Братченко и райпродкомиссар	85
13. Осадчий	92
14. Чернильницы по-соседски	97
15. «Наш — найкраший»	102
16. Габерсуп	109
17. Шарин на расправе	116
18. «Смычка» с селянством	122
19. Игра в фанты	127
20. О живом и мертвом	134
21. Вредные деды	146
22. Ампутация	156
23. Сортные семена	161
24. Хождение Семена по мукам	169
25. Командирская педагогика	176
26. Изверги второй колонии	183
27. Завоевание комсомола	191
28. Начало фанфарного марша	198

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

1. Кувшин молока	211
2. Отчечаш	220
3. Доминанты	230
4. Театр	240
5. Кулацкое воспитание	253
6. Стрелы Амура	261
7. Пополнение	270
8. Девятый и десятый отряды	279
9. Четвертый сводный	286
10. Свадьба	292
11. Лирика	305
12. Осень	311
13. Гримасы любви и поэзии	324
14. Не пиццать!	329
15. Трудные люди	335
16. Запорожье	341
17. Как нужно считать	351
18. Боевая разведка	363

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

1. Гвозди	371
2. Передовой сводный	387
3. Бытие	403
4. «Все хорошо»	414
5. Идиллия	425
6. Пять дней	436
7. Триста семьдесят третий бис	450
8. Гопак	460
9. Преображение	473
10. У подошвы Олимпа	486
11. Первый сноп	498
12. Жизнь покати́лась дальше	516
13. «Помогите мальчику»	528
14. Награды	540
15. Эпилог	553

ПРЕДИСЛОВИЕ ПАРТНЕРА ИЗДАНИЯ

Один из величайших педагогов XX века Антон Семенович Макаренко — замечательный писатель. Его «Педагогическая поэма» — захватывающая, яркая история спасенного поколения. Это не простая книга. За ее страницами стоят судьбы трех тысяч бывших беспризорников, карманников, уголовников, проституток, которые благодаря своему учителю получили возможность стать полноценными, полезными обществу людьми. Макаренко пережил немало бессонных ночей, приступов ярости, моментов бессилия, отчаяния, прежде чем добился вот такого итога: «Нельзя описать совершенно исключительное впечатление счастья, которое испытываешь в детском обществе, выросшем вместе с вами, доверяющем вам до конца, идущем с вами вперед».

Методика А. С. Макаренко оказалась настолько новаторской, настолько результативной, что советская педагогика не знала, что с ней делать. Вроде бы педагог утверждал, что его сверхзадачей является воспитание человека нового, большевистского типа. Вроде бы основывался на положениях марксистско-ленинской философии. Вроде бы развивал в воспитанниках вполне советское чувство ответственности и коллективизма. Но почему же коллеги Макаренко чувствовали в его методе некую чужеродность? Сам педагог в свою очередь смотрел на критиков с сожалением и объяснял их позицию просто: «Революция только началась в самом человеке. Сейчас еще много дураков сидят на местах, непосильных для них».

Если внимательно вчитаться в «Педагогическую поэму», обнаружится, что Макаренко всегда делал упор на воспитание, а не образование. Он считал, что способности и таланты человека могут реализоваться только благодаря прочному человеческому стержню. Главное — научить человека трудиться и эффективно взаимодействовать с другими людьми в коллективе, а какое он изберет для себя поприще — не так уж важно.

Создавая исправительно-трудовую коммуну для несовершеннолетних преступников, Макаренко меньше всего думал о перевоспитании своих подопечных. Его приводили в ярость слова об абстрактном добре и любви, он не переносил теоретиков. Общих фраз нет и в его книге. Прежде всего он ставил перед собой цель накормить, обути, одеть воспитанников, добиться самоокупаемости и благосостояния для всех. Эффективность руководителя,

воспитателя А. С. Макаренко видел в практической плоскости. Он сумел создать из коммуны сверхрентабельное производство с прибылью 4,5 миллиона рублей в год. Его воспитанники содержали себя и младших членов коммуны, платили стипендии студентам-коммунарам, откладывали средства на сберегательные книжки, содержали оркестр, театр, цветочную оранжерею, подсобное хозяйство. К моменту выхода из коммуны они владели рабочими специальностями на уровне квалифицированных мастеров.

Макаренко ценил материальные ценности выше, чем следовало большевику. В то время как советская идеологическая машина была устремлена в прекрасное завтра, обещая лучшее будущее потомкам, воспитатель строил сытую, счастливую жизнь сегодня. В этом корень его космополитизма и чужеродности. Его мировоззрение действительно противоречит советской системе — оно буржуазно по своей сути. Возможно, поэтому система Макаренко сегодня успешно применяется в области управления современными предприятиями.

«Педагогическая поэма» — универсальная практическая методика воспитательной работы в коллективе. Она подробно описывает, как из разрозненного, порой негодного человеческого материала сформировать настоящую сплоченную команду, вырастить лидеров, наладить систему самоорганизации, то есть создать среду, где каждый сможет получать радость от своего труда.

*Татьяна Бусаргина,
StudyLab — Обучение за рубежом,
Школа в Москве*

1. РАЗГОВОР С ЗАВГУБНАРОБРАЗОМ

В сентябре 1920 года заведующий губнарообразом* вызвал меня к себе и сказал:

— Вот что, брат, я слышал, ты там ругаешься сильно... вот что твоей трудовой школе дали это самое... губсовнархоз...

— Да как же не ругаться? Тут не только заругаешься — взвоешь: какая там трудовая школа? Накурено, грязно! Разве это похоже на школу?

— Да... Для тебя бы это самое: построить новое здание, новые парты поставить, ты бы тогда занимался. Не в зданиях, брат, дело, важно нового человека воспитать, а вы, педагоги, саботируете все: здание не такое, и столы не такие. Нету у вас этого самого вот... огня, знаешь, такого — революционного. Штаны у вас навыпуск!

— У меня как раз не навыпуск.

— Ну, у тебя не навыпуск... Интеллигенты паршивые!.. Вот ищу, ищу, тут такое дело большое: босяков этих самых развелось, мальчишек — по улице пройти нельзя, и по квартирам лазят. Мне говорят: это ваше дело, наробразовское... Ну?

— А что — «ну»?

— Да вот это самое: никто не хочет, кому ни говорю — руками и ногами, зарежут, говорят. Вам бы это кабинетик, книжечки... Очки вон надел...

Я рассмеялся:

— Смотрите, уже и очки помешали!

— Я ж и говорю, вам бы все читать, а если вам живого человека дают, так вы, это самое, зарежет меня живой человек. Интеллигенты!

Завгубнарообразом сердито покалывал меня маленькими черными глазами и из-под ницшевских усов изрыгал хулу на всю нашу педагогическую братию. Но ведь он был неправ, этот завгубнарообразом.

— Вот послушайте меня...

— Ну, что «послушайте»? Ну, что ты можешь такого сказать? Скажешь: вот если бы это самое... как в Америке! Я недавно по этому случаю

* Губнарообраз — Губернский отдел народного образования.

книжонку прочитал, — подсунули. Реформаторы... или как там, стой! Ага! Реформаториумы*. Ну, так этого у нас еще нет.

— Нет, вы послушайте меня.

— Ну, слушаю.

— Ведь и до революции с этими босяками справлялись. Были колонии малолетних преступников...

— Это не то, знаешь... До революции это не то.

— Правильно. Значит, нужно нового человека по-новому делать.

— По-новому, это ты верно.

— А никто не знает — как.

— И ты не знаешь?

— И я не знаю.

— А вот у меня это самое... есть такие в губнаробразе, которые знают...

— А за дело братья не хотят.

— Не хотят, сволочи, это ты верно.

— А если я возьмусь, так они меня со света сживут. Что бы я ни сделал, они скажут: не так.

— Скажут стервы, это ты верно.

— А вы им поверите, а не мне.

— Не поверю им, скажу: было б самим братья!

— Ну а если я и в самом деле напутаю?

Завгубнаробразом стукнул кулаком по столу:

— Да что ты мне: напутаю, напутаю! Ну, и напутаешь! Чего ты от меня хочешь? Что я не понимаю, что ли? Путай, а нужно дело делать. Там будет видно. Самое главное, это самое... не какая-нибудь там колония малолетних преступников, а, понимаешь, социальное воспитание... Нам нужен такой человек вот... наш человек! Ты его сделай. Все равно, всем учиться нужно. И ты будешь учиться. Это хорошо, что ты в глаза сказал: не знаю. Ну и хорошо.

— А место есть? Здания все-таки нужны.

— Есть, брат. Шикарное место. Как раз там и была колония малолетних преступников. Недалеко — верст шесть. Хорошо там: лес, поле, коров разведешь...

— А люди?

— А людей я тебе сейчас из кармана выну. Может, тебе еще и автомобиль дать?

— Деньги?..

— Деньги есть. Вот получи.

Он из ящика стола достал пачку.

* Реформаториумы — учреждения для перевоспитания несовершеннолетних правонарушителей в некоторых странах; детские тюрьмы.

— Сто пятьдесят миллионов. Это тебе на всякую организацию. Ремонт там, мебелишка какая нужна...

— И на коров?

— С коровами подождешь, там стекол нет. А на год смету составишь.

— Неловко так, посмотреть бы не мешало раньше.

— Я уже смотрел... что ж, ты лучше меня увидишь? Поезжай — и все.

— Ну, добре, — сказал я с облегчением, потому что в тот момент ничего страшнее комнат губсовнархоза для меня не было.

— Вот это молодец! — сказал завгубнаробразом. — Действуй! Дело святое!

2. БЕССЛАВНОЕ НАЧАЛО КОЛОНИИ ИМЕНИ ГОРЬКОГО

В шести километрах от Полтавы на песчаных холмах — гектаров двести соснового леса, а по краю леса — большак на Харьков, скучно поблескивающий чистеньким булыжником.

В лесу поляна, гектаров в сорок. В одном из ее углов поставлено пять геометрически правильных кирпичных коробок, составляющих все вместе правильный четырехугольник. Это и есть новая колония для правонарушителей.

Песчаная площадка двора спускается в широкую лесную прогалину, к камышам небольшого озера, на другом берегу которого плетни и хаты кулацкого хутора. Далеко за хутором нарисован на небе ряд старых берез, еще две-три соломенные крыши. Вот и все.

До революции здесь была колония малолетних преступников. В 1917 году она разбежалась, оставив после себя очень мало педагогических следов. Судя по этим следам, сохранившимся в истрепанных журналах-дневниках, главными педагогами в колонии были дядьки, вероятно, отставные унтер-офицеры, на обязанности которых было следить за каждым шагом воспитанников как во время работы, так и во время отдыха, а ночью спать рядом с ними, в соседней комнате. По рассказам соседей-крестьян можно было судить, что педагогика дядек не отличалась особой сложностью. Внешним ее выражением был такой простой снаряд, как палка.

Материальные следы старой колонии были еще незначительнее. Ближайшие соседи колонии перевезли и перенесли в собственные хранилища, называемые каморами и клунями, все то, что могло быть выражено в материальных единицах: мастерские, кладовые, мебель. Между всяким добром был вывезен даже фруктовый сад. Впрочем, во всей этой истории не было ничего, напоминающего вандалов. Сад был не вырублен, а выкопан и где-то вновь насажен, стекла в домах не разбиты, а аккуратно вынуты, двери не высажены гневным топором, а по-хозяйски сняты с петель, печи разобраны по кирпичику. Только буфетный шкаф в бывшей квартире директора остался на месте.

— Почему шкаф остался? — спросил я соседа, Луку Семеновича Верхолу, пришедшего с хутора поглядеть на новых хозяев.

— Так что, значится, можно сказать, что шкафчик этой нашим людям без надобности. Разобрать его, — сами ж видите, что с него? А в хату, можно сказать, в хату он не войдет — и по высоте, и поперек себя тоже...

В сараях по углам было свалено много всякого лома, но дельных предметов не было. По свежим следам мне удалось возвратить кое-какие ценности, утащенные в самые последние дни. Это были: рядовая старенькая сеялка, восемь столярных верстаков, еле на ногах державшихся, конь — мерин, когда-то бывший киргизом, — в возрасте тридцати лет и медный колокол.

В колонии я уже застал завхоза Калину Ивановича. Он встретил меня вопросом:

— Вы будете заведующий педагогической частью?

Скоро я установил, что Калина Иванович выражается с украинским прононсом, хотя принципиально украинского языка не признавал. В его словаре было много украинских слов, и «г» он произносил всегда на южный манер. Но в слове «педагогический» он почему-то так нажимал на литературное великорусское «г», что у него получалось, пожалуй, даже чересчур сильно.

— Вы будете заведующий педакокической частью?

— Почему? Я заведующий колонией...

— Нет, — сказал он, вынув изо рта трубку, — вы будете заведующий педакокической частью, а я — заведующий хозяйственной частью.

Представьте себе врубелевского «Пана», совершенно уже облысевшего, только с небольшими остатками волос над ушами. Сбрейте Пану бороду, а усы подстригите по-архиерейски. В зубы дайте ему трубку. Это будет уже не Пан, а Калина Иванович Сердюк. Он был чрезвычайно сложен для такого простого дела, как заведование хозяйством детской колонии. За ним было не менее пятидесяти лет различной деятельности. Но гордостью его были только две эпохи: был он в молодости гусаром лейб-гвардии Кексгольмского ее величества полка, а в восемнадцатом году заведовал эвакуацией города Миргорода во время наступления немцев.

Калина Иванович сделался первым объектом моей воспитательной деятельности. В особенности меня затрудняло обилие у него самых разнообразных убеждений. Он с одинаковым вкусом ругал буржуев, большевиков, русских, евреев, нашу неряшливость и немецкую аккуратность. Но его голубые глаза сверкали такой любовью к жизни, он был так восприимчив и подвижен, что я не пожалел для него небольшого количества педагогической энергии. И начал я его воспитание в первые же дни, с нашего первого разговора:

— Как же так, товарищ Сердюк, не может быть без заведующего колония? Кто-нибудь должен отвечать за все.

Калина Иванович снова вынул трубку и вежливо склонился к моему лицу:
— Так вы желаете быть заведующим колонией? И чтобы я вам в некотором роде подчинялся?

— Нет, это необязательно. Давайте, я вам буду подчиняться.

— Я педагогике не обучался, что не мое, то не мое. Вы еще молодой человек и хотите, чтобы я, старик, был на побегушках? Так тоже нехорошо! А быть заведующим колонией — так, знаете, для этого ж я еще малограмотный, да и зачем это мне?..

Калина Иванович неблагосклонно отошел от меня. Надулся. Целый день он ходил грустный, а вечером пришел в мою комнату уже в полной печали.

— Я вам здесь поставив столик и кровать, какие нашлись...

— Спасибо.

— Я думав, думав, как нам быть с этой самой колонией. И решив, что вам, конечно, лучше быть заведующим колонией, а я вам буду как бы подчиняться.

— Помиримся, Калина Иванович.

— Я так тоже думаю, что помиримся. Не святые горшки леплять, и мы дело наше сделаем. А вы, как человек грамотный, будете как бы заведующим.

Мы приступили к работе. При помощи «дрючков» тридцатилетняя коняка была поставлена на ноги. Калина Иванович взгромоздился на некоторое подобие брички, любезно предоставленной нам соседом, и вся эта система двинулась в город со скоростью двух километров в час. Начался организационный период.

Для организационного периода была поставлена вполне уместная задача — концентрация материальных ценностей, необходимых для воспитания нового человека. В течение двух месяцев мы с Калиной Ивановичем проводили в городе целые дни. В город Калина Иванович ездил, а я ходил пешком. Он считал ниже своего достоинства пешеходный способ, а я никак не мог помириться с теми темпами, которые мог обеспечить бывший киргиз.

В течение двух месяцев нам удалось при помощи деревенских специалистов кое-как привести в порядок одну из казарм бывшей колонии: вставили стекла, поправили печи, навесили новые двери. В области внешней политики у нас было единственное, но зато значительное достижение: нам удалось выпросить в опродкомарме Первой запасной* сто пятьдесят пудов ржаной муки. Иных материальных ценностей нам не повезло «сконцентрировать».

Сравнив все это с моими идеалами в области материальной культуры, я увидел: если бы у меня было во сто раз больше, то до идеала оставалось бы столько же, сколько и теперь. Вследствие этого я принужден был объявить организационный период законченным. Калина Иванович согласился с моей точкой зрения:

* Опродкомарм Первой запасной — Особая продовольственная комиссия по снабжению Первой запасной армии в годы гражданской войны.

— Что ж ты соберешь, когда они, паразиты, зажигалки делают? Разорили, понимаешь ты, народ, а теперь как хочешь, так и организуйся. Приходится, как Илья Муромец...

— Илья Муромец?

— Ну да. Был такой — Илья Муромец... может, ты чув... так они его, паразиты, богатырем объявили. А я так считаю, что он был просто бедняк и лодырь, летом, понимаешь ты, на санях ездил.

— Ну что же, будем как Илья Муромец, это еще не так плохо. А где же Соловей-разбойник?

— Соловьев-разбойников, брат, сколько хочешь...

Прибыли в колонию две воспитательницы: Екатерина Григорьевна и Лидия Петровна. В поисках педагогических работников я дошел было до полного отчаяния: никто не хотел посвятить себя воспитанию нового человека в нашем лесу — все боялись «босяков», и никто не верил, что наша затея окончится добром. И только на конференции работников сельской школы, на которой и мне пришлось витийствовать, нашлось два живых человека. Я был рад, что это женщины. Мне казалось, что «облагораживающее женское влияние» счастливо дополнит нашу систему сил.

Лидия Петровна была очень молода — девочка. Она недавно окончила гимназию и еще не остыла от материнской заботы. Завгубнаобразом меня спросил, подписывая назначение:

— Зачем тебе эта девчонка? Она же ничего не знает.

— Да именно такую и искал. Видите ли, мне иногда приходит в голову, что знания сейчас не так важны. Эта самая Лидочка — чистейшее существо, я рассчитываю на нее, вроде как на прививку.

— Не слишком ли хитришь? Ну, хорошо...

Зато Екатерина Григорьевна была матерый педагогический волк. Она ненамного раньше Лидочки родилась, но Лидочка прислонялась к ее плечу, как ребенок к матери. У Екатерины Григорьевны на серьезном красивом лице прямилась почти мужские черные брови. Она умела носить с подчеркнутой опрятностью каким-то чудом сохранившиеся платья, и Калина Иванович правильно выразился, познакомившись с нею:

— С такой женщиной нужно очень осторожно поступать...

Итак, все было готово.

Четвертого декабря в колонию прибыли первые шесть воспитанников и предъявили мне какой-то сказочный пакет с пятью огромными сургучными печатями. В пакете были «дела». Четверо имели по восемнадцать лет, были присланы за вооруженный квартирный грабеж, а двое были помоложе и обвинялись в кражах. Воспитанники наши были прекрасно одеты: галифе,

щегоольские сапоги. Прически их были последней моды. Это вовсе не были беспризорные дети. Фамилии этих первых: Задоров, Бурун, Волохов, Бендюк, Гуд и Таранец.

Мы их встретили приветливо. У нас с утра готовился особенно вкусный обед, кухарка блистала белоснежной повязкой; в спальне, на свободном от кроватей пространстве, были накрыты парадные столы; скатертей мы не имели, но их с успехом заменили новые простыни. Здесь собрались все участники нарождающейся колонии. Пришел и Калина Иванович, по случаю торжества сменивший серый измазанный пиджачок на курточку зеленого бархата.

Я сказал речь о новой, трудовой жизни, о том, что нужно забыть о прошлом, что нужно идти все вперед и вперед. Воспитанники мою речь слушали плохо, перешептывались, с ехидными улыбками и презрением посматривали на расставленные в казарме складные койки — «дачки», покрытые далеко не новыми ватными одеялами, на некрашенные двери и окна. В середине моей речи Задоров вдруг громко сказал кому-то из товарищей:

— Через тебя влипли в эту бузу!

Остаток дня мы посвятили планированию дальнейшей жизни. Но воспитанники с вежливой небрежностью выслушивали мои предложения — только бы скорее от меня отделаться.

А наутро пришла ко мне взволнованная Лидия Петровна и сказала:

— Я не знаю, как с ними разговаривать... Говорю им: надо за водой ехать на озеро, а один там, такой — с прической, надевает сапоги и прямо мне в лицо сапогом: «Вы видите, сапожник пошил очень тесные сапоги!»

В первые дни они нас даже не оскорбляли, просто не замечали нас. К вечеру они свободно уходили из колонии и возвращались утром, сдержанно улыбаясь навстречу моему проникновенному соцвсовскому* выговору. Через неделю Бендюк был арестован приехавшим агентом губрозыска за совершенное ночью убийство и ограбление. Лидочка насмерть была перепугана этим событием, плакала у себя в комнате и выходила только затем, чтобы у всех спрашивать:

— Да что же это такое? Как же это так? Пошел и убил?..

Екатерина Григорьевна, серьезно улыбаясь, хмурила брови:

— Не знаю, Антон Семенович, серьезно, не знаю... Может быть, нужно просто уехать... Я не знаю, какой тон здесь возможен...

Пустынный лес, окружавший нашу колонию, пустые коробки наших домов, десяток «дачек» вместо кроватей, топор и лопата в качестве инструмента и полдесятка воспитанников, категорически отрицавших

* Соцвос — социальное воспитание.

не только нашу педагогику, но всю человеческую культуру, — все это, правду говоря, нисколько не соответствовало нашему прежнему школьному опыту.

Длинными зимними вечерами в колонии было жутко. Колония освещалась двумя пятилинейными лампочками: одна — в спальне, другая — в моей комнате. У воспитательниц и у Калины Ивановича были «каганцы» — изобретение времен Кия, Щека и Хорива*. В моей лампочке верхняя часть стекла была отбита, а оставшаяся часть всегда закопчена, потому что Калина Иванович, закуривая свою трубку, пользовался часто огнем моей лампы, просовывал для этого в стекло половину газеты.

В тот год рано начались снежные вьюги, и весь двор колонии был завален сугробами снега, а расчистить дорожки было некому. Я просил об этом воспитанников, но Задоров мне сказал:

— Дорожки расчистить можно, но только пусть зима кончится: а то мы расчистим, а снег опять нападает. Понимаете?

Он мило улыбнулся и отошел к товарищу, забыв о моем существовании.

Задоров был из интеллигентной семьи — это было видно сразу. Он правильно говорил, лицо его отличалось той молодой холеностью, какая бывает только у хорошо кормленных детей. Волохов был другого порядка человек: широкий рот, широкий нос, широко расставленные глаза — все это с особенной мясистой подвижностью, — лицо бандита. Волохов всегда держал руки в карманах галифе, и теперь он подошел ко мне в такой позе:

— Ну, сказали ж вам...

Я вышел из спальни, обратив своей гнев в какой-то тяжелый камень в груди. Но дорожки нужно было расчистить, а окаменевший гнев требовал движения. Я зашел к Калине Ивановичу:

— Пойдем снег чистить.

— Что ты! Что ж я сюда черноробом наймался? А эти что? — кивнул он на спальни. — Соловьи-разбойники?

— Не хотят.

— Ах, паразиты! Ну, пойдем!

Мы с Калиной Ивановичем уже оканчивали первую дорожку, когда на нее вышли Волохов и Таранец, направляясь, как всегда, в город.

— Вот хорошо! — сказал весело Таранец.

— Давно бы так, — поддержал Волохов.

Калина Иванович загородил им дорогу:

— То есть как это — «хорошо»? Ты, сволочь, отказался работать, так думаешь, я для тебя буду? Ты здесь не будешь ходить, паразит! Полежай в снег, а то я тебя лопатой...

* Кий, Щек и Хорив — согласно «Повести временных лет» основатели Киева.

Калина Иванович замахнулся лопатой, но через мгновение его лопата полетела далеко в сугроб, трубка — в другую сторону, и изумленный Калина Иванович мог только взглядом проводить юношей и издали слышать, как они ему крикнули:

— Придется самому за лопатой полазить!

Со смехом они ушли в город.

— Уеду отсюда к чертовой матери! Чтоб я тут работал! — сказал Калина Иванович и ушел в свою квартиру, бросив лопату в сугробе.

Жизнь наша сделалась печальной и жуткой. На большой дороге на Харьков каждый вечер кричали:

— Рятуйте!..*

Ограбленные селяне приходили к нам и трагическими голосами просили помощи.

Я выпросил у завгубнаобразом наган для защиты от дорожных рыцарей, но положение в колонии скрывал от него. Я еще не терял надежды, что придумаю способ договориться с воспитанниками.

Первые месяцы нашей колонии для меня и моих товарищей были не только месяцами отчаяния и бессильного напряжения, — они были еще и месяцами поисков истины. Я во всю жизнь не прочитал столько педагогической литературы, сколько зимою 1920 года.

Это было время Врангеля и польской войны. Врангель где-то близко, возле Новомиргорода, совсем недалеко от нас, в Черкассах, воевали поляки, по всей Украине бродили батьки, вокруг нас многие находились в блакитно-желтом очаровании. Но мы в нашем лесу, подперев голову руками, старались забыть о громах великих событий и читали педагогические книги.

У меня главным результатом этого чтения была крепкая и почему-то вдруг основательная уверенность, что в моих руках никакой науки нет и никакой теории нет, что теорию нужно извлечь из всей суммы реальных явлений, происходящих на моих глазах. Я сначала даже не понял, а просто увидел, что мне нужны не книжные формулы, которые я все равно не мог привязать к делу, а немедленный анализ и немедленное действие. Нас властно обступил хаос мелочей, целое море элементарнейших требований здравого смысла, из которых каждое способно было вдребезги разбить всю нашу мудрую педагогическую науку.

Всем своим существом я чувствовал, что мне нужно спешить, что я не могу ожидать ни одного лишнего дня. Колония все больше и больше принимала характер «малины» — воровского притона, в отношениях воспитанников к воспитателям все больше определялся тон постоянного издевательства и хулиганства. При воспитательницах уже начали рассказывать

* Рятуйте (укр.) — помогите, спасите.

похабные анекдоты, грубо требовали подачи обеда, швырялись тарелками в столовой, демонстративно играли финками и глумливо расспрашивали, сколько у кого есть добра:

— Всегда, знаете, может пригодиться... в трудную минуту.

Они решительно отказывались пойти нарубить дров для печей и в присутствии Калины Ивановича разломали деревянную крышу сарая. Сделали они это с дружелюбными шутками и смехом:

— На наш век хватит!

Калина Иванович рассыпал миллионы искр из своей трубки и разводил руками:

— Что ты им скажешь, паразитам? Видишь, какие аlegantские холявы! И откуда это они почерпнули, чтоб постройки ломать? За это родителей нужно в кутузку, паразитов...

И вот свершилось: я не удержался на педагогическом канате. В одно зимнее утро я предложил Задорову пойти нарубить дров для кухни. Услышал обычный задорно-веселый ответ:

— Иди сам наруби, много вас тут!

Это впервые ко мне обратились на «ты».

В состоянии гнева и обиды, доведенный до отчаяния и остервенения всеми предшествующими месяцами, я размахнулся и ударил Задорова по щеке. Ударил сильно, он не удержался на ногах и повалился на печку. Я ударил второй раз, схватил его за шиворот, приподнял и ударил третий раз.

Я вдруг увидел, что он страшно испугался. Бледный, с трясущимися руками, он поспешил надеть фуражку, потом снял ее и снова надел. Я, вероятно, еще бил бы его, но он тихо и со стоном прошептал:

— Простите, Антон Семенович...

Мой гнев был настолько дик и неумерен, что я чувствовал: скажи кто-нибудь слово против меня — я брошусь на всех, буду стремиться к убийству, к уничтожению этой своры бандитов. У меня в руках очутилась железная кочерга. Все пять воспитанников молча стояли у своих кроватей, Бурун что-то спешил поправить в костюме.

Я обернулся к ним и постучал кочергой по спинке кровати:

— Или всем немедленно отправляться в лес, на работу, или убираться из колонии к чертовой матери!

И вышел из спальни.

Пройдя к сараю, в котором находились наши инструменты, я взял топор и хмуро посматривал, как воспитанники разбирали топоры и пилы. У меня мелькнула мысль, что лучше в этот день не рубить лес — не давать воспитанникам топоров в руки, но было уже поздно: они получили все, что им полагалось. Все равно. Я был готов на все, я решил, что даром свою жизнь не отдам. У меня в кармане был еще и револьвер.

Мы пошли в лес. Калина Иванович догнал меня и в страшном волнении зашептал:

— Что такое? Скажите на милость, чего это они такие добрые?

Я рассеяно глянул в голубые очи Пана и сказал:

— Скверно, брат, дело... Первый раз в жизни ударил человека.

— Ох ты, лышенько! — ахнул Калина Иванович. — А если они жаловаться будут?

— Ну, это еще не беда...

К моему удивлению, все прошло прекрасно. Я поработал с ребятами до обеда. Мы рубили в лесу кривые сосенки. Ребята в общем хмурились, но свежий морозный воздух, красивый лес, убранный огромными шапками снега, дружное участие пилы и топора сделали свое дело.

В перерыве мы смущенно закурили из моего запаса махорки, и, пуская дым к верхушке сосен, Задоров вдруг разразился смехом:

— А здóрово! Ха-ха-ха-ха!..

Приятно было видеть его смеющуюся румяную рожу, и я не мог не ответить ему улыбкой:

— Что — здóрово? Работа?

— Работа, само собой. Нет, а вот как вы меня съездили!

Задоров был большой и сильный юноша, и смеяться ему, конечно, было уместно. Я и то удивлялся, как я решился тронуть такого богатыря.

Он залился смехом и, продолжая хохотать, взял топор и направился к дереву:

— История, ха-ха-ха!..

Обедали мы вместе, с аппетитом и шутками, но утренние события не вспоминали. Я себя чувствовал все же неловко, но уже решил не сдавать тона и уверенно распорядился после обеда. Волохов ухмыльнулся, но Задоров подошел ко мне с самой серьезной рожей:

— Мы не такие плохие, Антон Семенович! Будет все хорошо. Мы понимаем...

3. ХАРАКТЕРИСТИКА ПЕРВИЧНЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ

На другой день я сказал воспитанникам:

— В спальне должно быть чисто! У вас должны быть дежурные по спальне. В город можно уходить только с моего разрешения. Кто уйдет без отпуска, пусть не возвращается — не приму.

— Ого! — сказал Волохов. — А может быть, можно полегче?

— Выбирайте, ребята, что вам нужнее. Я иначе не могу. В колонии должна быть дисциплина. Если вам не нравится, расходитесь, кто куда хочет. А кто останется жить в колонии, тот будет соблюдать дисциплину. Как хотите. «Малины» не будет.

Задоров протянул мне руку.

— По рукам — правильно! Ты, Волохов, молчи. Ты еще глупый в этих делах. Нам все равно здесь пересидеть нужно, не в допр* же идти.

— А что, и в школу ходить обязательно? — спросил Волохов.

— Обязательно.

— А если я не хочу учиться?.. На что мне?..

— В школу обязательно. Хочешь ты или не хочешь, все равно. Видишь, тебя Задоров сейчас дураком назвал. Надо учиться — уметь.

Волохов шутливо завертел головой и сказал, повторяя слова какого-то украинского анекдота:

— От ускочыв, так ускочыв!

В области дисциплины случай с Задоровым был поворотным пунктом. Нужно правду сказать, я не мучился угрызениями совести. Да, я избил воспитанника. Я пережил всю педагогическую несуразность, всю юридическую незаконность этого случая, но в то же время я видел, что чистота моих педагогических рук — дело второстепенное в сравнении со стоящей передо мной задачей. Я твердо решил, что буду диктатором, если другим методом не овладею. Через некоторое время у меня было серьезное столкновение с Волоховым, который, будучи дежурным, не убрал в спальне и отказался убрать после моего замечания. Я на него посмотрел сердито и сказал:

— Не выводи меня из себя. Убери!

* Допр, или дом принудительных работ — закрытое учреждение для заключенных.

— А то что? Морду набьете? Права не имеете!..

Я взял его за воротник, приблизил к себе и зашипел в лицо совершенно искренно:

— Слушай! Последний раз предупреждаю: не морду набью, а изувечу! А потом ты на меня жалуйся, сяду в допр, это не твое дело!

Волохов вырвался из моих рук и сказал со слезами:

— Из-за такого пустяка в допр нечего садиться. Уберу, черт с вами!

Я на него загремел:

— Как ты разговариваешь?

— Да как же с вами разговаривать? Да ну вас к...!

— Что? Выругайся...

Он вдруг засмеялся и махнул рукой.

— Вот человек, смотри ты... Уберу, уберу, не кричите!

Нужно, однако, заметить, что я ни одной минуты не считал, что нашел в насилии какое-то всесильное педагогическое средство. Случай с Задоровым достался мне дороже, чем самому Задорову. Я стал бояться, что могу броситься в сторону наименьшего сопротивления. Из воспитательниц прямо и настойчиво осудила меня Лидия Петровна. Вечером того же дня она положила голову на кулачки и пристала:

— Так вы уже нашли метод? Как в бурсе*, да?

— Отстаньте, Лидочка!

— Нет, вы скажите, будем бить морду? И мне можно? Или только вам?

— Лидочка, я вам потом скажу. Сейчас я еще сам не знаю. Вы подождите немного.

— Ну хорошо, подожду.

Екатерина Григорьевна несколько дней хмурила брови и разговаривала со мной официально-приветливо. Только дней через пять она меня спросила, улыбнувшись серьезно:

— Ну, как вы себя чувствуете?

— Все равно. Прекрасно себя чувствую.

— А вы знаете, что в этой истории самое печальное?

— Самое печальное?

— Да. Самое неприятное то, что ведь ребята о вашем подвиге рассказывают с упоением. Они в вас даже готовы влюбиться, и первый Задоров. Что это такое? Я не понимаю. Что это, привычка к рабству?

Я подумал немного и сказал Екатерине Григорьевне:

— Нет, тут не в рабстве дело. Тут как-то иначе. Вы проанализируйте хорошенько: ведь Задоров сильнее меня, он мог бы меня искалечить одним ударом.

* Бурса — общежитие при духовных семинариях и училищах, в которых воспитанники содержались за казенный счет; синоним сурового режима с применением телесных наказаний.

А ведь он ничего не боится, не бояться и Бурун и другие. Во всей этой истории они не видят побоев, они видят только гнев, человеческий взрыв. Они же прекрасно понимают, что я мог бы и не бить, мог бы возвратить Задорова, как не исправимого, в комиссию*, мог причинить им много важных неприятностей. Но я этого не делаю, я пошел на опасный для себя, но человеческий, а не формальный поступок. А колония им, очевидно, все-таки нужна. Тут сложнее. Кроме того, они видят, что мы много работаем для них. Все-таки они люди. Это важное обстоятельство.

— Может быть, — задумалась Екатерина Григорьевна.

Но задумываться нам было некогда. Через неделю, в феврале 1921 года, я привез на мебельной линейке полтора десятка настоящих беспризорных и по-настоящему оборванных ребят. С ними пришлось много возиться, чтобы обмыть, кое-как одеть, вылечить чесотку. К марту в колонии было до тридцати ребят. В большинстве они были очень запущены, дики и совершенно не приспособлены для выполнения соцвосовской мечты. Того особенного творчества, которое якобы делает детское мышление очень близким по своему типу к научному мышлению, у них пока что не было.

Прибавилось в колонии и воспитателей. К марту у нас был уже настоящий педагогический совет. Чета из Ивана Ивановича и Натальи Марковны Осиповых, к удивлению всей колонии, привезла с собою значительное имущество: диваны, стулья, шкафы, множество всякой одежды и посуды. Наши голые колонисты с чрезвычайным интересом наблюдали, как разгружались возы со всем этим добром у дверей квартиры Осиповых.

Интерес колонистов к имуществу Осиповых был далеко не академическим интересом, и я очень боялся, что все это великолепное переселение может получить обратное движение к городским базарам. Через неделю особый интерес к богатству Осиповых несколько разрядился прибытием экономки. Экономка была старушка — очень добрая, разговорчивая и глупая. Ее имущество хотя и уступало осиповскому, но состояло из очень аппетитных вещей. Было там много муки, банок с вареньем и еще с чем-то, много небольших аккуратных мешочков и саквояжиков, в которых прощупывались глазами наших воспитанников разные ценные вещи.

Экономка с большим старушечьим вкусом и уютом расположилась в своей комнате, приспособила свои коробки и другие вместилища к разным кладовочкам, уголкам и местечкам, самой природой назначенным для такого дела, и как-то очень быстро сдружилась с двумя-тремя ребятами. Сдружились они на договорных началах: они доставляли ей дрова и ставили самовар, а она за это угощала их чаем и разговорами о жизни. Делать

* Комиссия — Комиссия по делам несовершеннолетних правонарушителей при отделах народного образования.

экономке в колонии было, собственно говоря, нечего, и я удивлялся, для чего ее назначили.

В колонии не нужно было никакой экономки. Мы были невероятно бедны.

Кроме нескольких квартир, в которых поселился персонал, из всех помещений колонии нам удалось отремонтировать только одну большую спальню с двумя утермарковскими печами*. В этой комнате стояло тридцать «дачек» и три больших стола, на которых ребята обедали и писали. Другая большая спальня и столовая, две классные комнаты и канцелярия ожидали ремонта в будущем.

Постельного белья у нас было полторы смены, всякого иного белья и вовсе не было. Наше отношение к одежде выражалось почти исключительно в разных просьбах, обращенных к наробразу и другим учреждениям.

Завгубнаробразом, так решительно открывавший колонию, уехал куда-то на новую работу, его преемник колонией мало интересовался — были у него дела поважнее.

Атмосфера в наробразе меньше всего соответствовала нашему стремлению разбогатеть. В то время губнаробраз представлял собой конгломерат очень многих комнат и комнаток и очень многих людей, но истинными выразителями педагогического творчества здесь были не комнаты и не люди, а столики. Расшатанные и облезшие, то письменные, то туалетные, то ломберные, когда-то черные, когда-то красные, окруженные такими же стульями, эти столики изображали различные секции, о чем свидетельствовали надписи, развешанные на стенках против каждого столика. Значительное большинство столиков всегда пустовало, потому что дополнительная величина — человек — оказывался в существе своем не столько заведующим секцией, сколько счетоводом в губраспреде. Если за каким-нибудь столиком вдруг обнаруживалась фигура человека, посетители сбегались со всех сторон и набрасывались на нее. Беседа в этом случае заключалась в выяснении того, какая это секция, и в эту ли секцию должен обратиться посетитель или нужно обращаться в другую, и если в другую, то почему и в какую именно; а если все-таки не в эту, то почему товарищ, который сидел за тем вон столиком в прошлую субботу, сказал, что именно в эту? После разрешения всех этих вопросов заведующий секцией снимался с якоря и с космической скоростью исчезал.

Наши неопытные шаги вокруг столиков не привели, естественно, ни к каким положительным результатам. Поэтому зимой двадцать первого года колония очень мало походила на воспитательное учреждение. Изодранные пиджаки, к которым гораздо больше подходило блатное наименование «клифт», кое-как прикрывали человеческую кожу; очень редко под клифтами

* Утермарковские печи — кирпичные печи в форме вертикальных цилиндров, обшитые железом.

оказывались остатки истлевшей рубахи. Наши первые воспитанники, прибывшие к нам в хороших костюмах, недолго выделялись из общей массы; колка дров, работа на кухне, в прачечной делали свое, хотя и педагогическое, но для одежды разрушительное дело.

К марту все наши колонисты были так одеты, что им мог бы позавидовать любой артист, исполняющий роль мельника в «Русалке».

На ногах у очень немногих колонистов были ботинки, большинство же обвертывало ноги портянками и завязывало веревками. Но и с этим последним видом обуви у нас были постоянные кризисы.

Пища наша называлась кондёром. Другая пища бывала случайна. В то время существовало множество всяких норм питания: были нормы обыкновенные, нормы повышенные, нормы для слабых и для сильных, нормы дефективные, санаторные, больничные. При помощи очень напряженной дипломатии нам иногда удавалось убедить, упросить, обмануть, подкупить своим жалким видом, запугать бунтом колонистов, и нас переводили, к примеру, на санаторную норму. В норме было молоко, пропасть жиров и белый хлеб. Этого, разумеется, мы не получали, но некоторые элементы кондёра и ржаной хлеб начинали привозить в большем размере. Через месяц-другой нас постигало дипломатическое поражение, и мы вновь опускались до положения обыкновенных смертных и вновь начинали осторожную и кривую линию тайной и явной дипломатии. Иногда нам удавалось производить такой сильный нажим, что мы начинали получать даже мясо, копчености и конфеты, но тем печальнее становилось наше житье, когда обнаруживалось, что никакого права на эту роскошь дефективные морально не имеют, а имеют только дефективные интеллектуально.

Иногда нам удавалось совершать вылазки из сферы узкой педагогики в некоторые соседние сферы, например в губпродком, или в опродкомарм Первой запасной, или в отдел снабжения какого-нибудь подходящего ведомства. В наробразе категорически запрещали подобную партизанщину, и вылазки нужно было делать втайне.

Для вылазки необходимо было вооружиться бумажкой, в которой стояло только одно простое и выразительное предложение: «Колония малолетних преступников просит отпустить для питания воспитанников сто пудов муки».

В самой колонии мы никогда не употребляли таких слов, как «преступник», и наша колония никогда так не называлась. В то время нас называли морально дефективными. Но для посторонних миров последнее название мало подходило, ибо от него слишком несло запахом воспитательного ведомства.

Со своей бумажкой я помещался где-нибудь в коридоре соответствующего ведомства, у дверей кабинета. В двери эти входило множество людей. Иногда в кабинет набивалось столько народу, что туда уже мог заходить всякий

желающий. Через головы посетителей нужно было пробиться к начальству и молча просунуть под его руку нашу бумажку.

Начальство в продовольственных ведомствах очень слабо разбиралось в классификационных хитростях педагогики, и ему не всегда приходило в голову, что «малолетние преступники» имеют отношение к просвещению. Эмоциональная же окраска самого выражения «малолетние преступники» была довольно внушительна. Поэтому очень редко начальство взирало на нас строго и говорило:

— Так вы чего сюда пришли? Обращайтесь в свой наробраз.

Чаще бывало так — начальство задумывалось и произносило:

— Кто вас снабжает? Тюремное ведомство?

— Нет, видите ли, тюремное ведомство нас не снабжает, потому что это же дети...

— А кто же вас снабжает?

— До сих пор, видите ли, не выяснено...

— Как это — «не выяснено»?.. Странно!

Начальство что-то записывало в блокнот и предлагало прийти через неделю.

— В таком случае дайте пока хоть двадцать пудов.

— Двадцать я не дам, получите пока пять пудов, а я потом выясню.

Пяти пудов было много, да и завязавшийся разговор не соответствовал нашим предначертаниям, в которых никаких выяснений, само собой, не ожидалось.

Единственно приемлемым для колонии имени М. Горького был такой оборот дела, когда начальство ни о чем не расспрашивало, а молча брало нашу бумажку и чертило в углу: «Выдать».

В этом случае я сломя голову летел в колонию:

— Калина Иванович!.. Ордер!.. Сто пудов! Скорее ищи дядьков и вези, а то разберутся там...

Калина Иванович радостно склонялся над бумажкой:

— Сто пудов? Скажи ж ты! А откедова ж такое?

— Разве не видишь? Губпродком отдела...

— Кто их разберет!.. Та нам все равно: хоть черт, хоть бис, абы яйца нис, хе-хе-хе!..

Первичная потребность у человека — пища. Поэтому положение с одеждой нас не так удручало, как положение с пищей. Наши воспитанники всегда были голодны, и это значительно усложняло задачу их морального перевоспитания. Только некоторую, небольшую часть своего аппетита колонистам удавалось удовлетворять при помощи частных способов.

Одним из основных видов частной пищевой промышленности была рыбная ловля. Зимой это было очень трудно. Самым легким способом было

опустошение ятерей (сеть, имеющая форму четырехгранной пирамиды), которые на недалекой речке и на нашем озере устанавливались местными хуторянами. Чувство самосохранения и присущая человеку экономическая сообразительность удерживали наших ребят от похищения самих ятерей, но нашелся среди наших колонистов один, который нарушил это золотое правило.

Это был Таранец. Ему было шестнадцать лет, он был из старой воровской семьи, был строен, ряб, весел, остроумен, прекрасный организатор и предприимчивый человек. Но он не умел уважать коллективные интересы. Он украл на реке несколько ятерей и притащил их в колонию. Вслед за ним пришли и хозяева ятерей, и дело окончилось большим скандалом. Хуторяне после этого стали сторожить ятерю, и нашим охотникам очень редко удавалось что-нибудь поймать. Но через некоторое время у Таранца и некоторых других колонистов появились собственные ятерю, которые им были подарены «одним знакомым в городе». При помощи этих собственных ятерей рыбная ловля стала быстро развиваться. Рыба потреблялась сначала небольшим кругом лиц, но к концу зимы Таранец неосмотрительно решил вовлечь в этот круг и меня.

Он принес в мою комнату тарелку жареной рыбы.

— Это вам рыба.

— Вижу, только я не возьму.

— Почему?

— Потому что неправильно. Рыбу нужно давать колонистам.

— С какой стати? — покраснел Таранец от обиды. — С какой стати? Я достал ятерю, я ловлю, мокну на речке, а давать всем?

— Ну и забирай свою рыбу: я ничего не доставал и не мок.

— Так это мы вам в подарок...

— Нет, я не согласен, мне все это не нравится. И неправильно.

— В чем же тут неправильность?

— А в том: ятерей ведь ты не купил. Ятерю подарены?

— Подарены.

— Кому? Тебе? Или всей колонии?

— Почему — «всей колонии»? Мне...

— А я так думаю, что и мне и всем. А сковородки чьи? Твои? Общие. А масло подсолнечное вы выпрашиваете у кухарки — чье масло? Общее. А дрова, а печь, а ведра? Ну, что ты скажешь? А я вот отберу у тебя ятерю, и конечно будет дело. А самое главное — не по-товарищески. Мало ли что — твои ятерю! А ты для товарищей сделай. Ловить же все могут.

— Ну, хорошо, — сказал Таранец, — хай будет так. А рыбу вы все-таки возьмите.

Рыбу я взял. С тех пор рыбная ловля сделалась нарядной работой по очереди, и продукция сдавалась на кухню.

Вторым способом частного добывания пищи были поездки на базар в город. Каждый день Калина Иванович запрягал Малыша — киргиза — и отправлялся за продуктами или в поход по учреждениям. За ним увязывались два-три колониста, у которых к тому времени начинала ощущаться нужда в городе: в больницу, на допрос в комиссию, помочь Калине Ивановичу, поддержать Малыша. Все эти счастливицы обыкновенно возвращались из города сытыми и товарищам привозили кое-что. Не было случая, чтобы кто-нибудь на базаре «засыпался». Результаты этих походов имели легальный вид: «тетка дала», «встретился со знакомым». Я старался не оскорблять колониста грязным подозрением и всегда верил этим объяснениям. Да и к чему могло бы привести мое недоверие? Голодные, грязные колонисты, рыскающие в поисках пищи, представлялись мне неблагодарными объектами для проповеди какой бы то ни было морали по таким пустяковым поводам, как кража на базаре бублика или пары подметок.

В нашей умопомрачительной бедности была и одна хорошая сторона, которой потом у нас уже никогда не было. Одинаково были голодны и бедны и мы, воспитатели. Жалованья тогда мы почти не получали, довольствовались тем же кондёром и ходили в такой же приблизительно рвани. У меня в течение всей зимы не было подметок на сапогах, и кусок портянки всегда вылезал наружу. Только Екатерина Григорьевна щеголяла вычищенными, аккуратными, прилаженными платьями.



[Почитать описание, рецензии
и купить на сайте](#)

Лучшие цитаты из книг, бесплатные главы и новинки:



[Mifbooks](#)



[Mifbooks](#)



[Mifbooks](#)